

твоего». Затем, возведя Христа на весьма высокую гору и показав ему все царства мира и славу их, Дьявол посулил: «все это дам Тебе, если падши поклонись мне». На что Иисус отвечал: «отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»» (Матф., 4, 6—10).

Первым же искусом Писание, однако, называет следующее предложение Врага человеческого: «если Ты Сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами». Особое коварство этой идеи усугублялось кажущейся легкостью и удобоисполнимостью ее для Христа. Но он отвечал знаменитым: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф., 4, 3—4).

И это была позиция подлинного добра по отношению к человеку, ибо гарантировала ему сохранение собственно человеческого в нем, души и совести (морали) как сознания своей органической сопричастности роду людскому и личной ответственности и вины за свои или чужие антиобщественные помыслы и деяния. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Марк, 8, 36). Позиция эта и сделала Христа, согласно его последователям, первым *Добродетелем* человечества. Напротив, ученики Дьявола-искусителя, вплоть до соловьевского и замятинского властителей, суть не Добродетели, но антигуманисты Благодетели, так как, одаряя своих подданных *благами* — хлебами, мамоной — ценою их души и совести, обращали их в подобия животных или безликих «номеров»-роботов.

Итак, если не ближайшим, то основополагающим литературно-философским источником «блага» и фигуры Благодетеля в романе «Мы» явились тексты Евангелия. Однако евангельский Дьявол, как и сцена соращения им Христа в целом, вошли в замятинскую антиутопию не прямо, но через их интерпретацию у Достоевского — именно через «поэму» о Великом Инквизиторе, рассказанную в «Братьях Карамазовых» Иваном брату Алексею.

Как указывал сам Замятин, литературными учителями его были прежде всего Гоголь и Достоевский. Проза писателя и в особенности роман «Мы», действительно, исполнены как многих ассоциаций, так и реминисценций из Достоевского; она заключает в себе диалог с его идеями, развитие его образов и сюжетных приемов. Повествование антиутопии, как в «Преступлении и наказании», «Бесах», идет со всевозрастающим напряжением, неожиданными «вдруг» и крутыми поворотами событий. Рассказчик-хроникер, подобно Раскольникову, проходит через раздвоение своей личности и *преступление* перед «номерным» сообществом, затем — кризис (*наказание*) и, наконец, своеобразное «воскресение», возвращающее его в лоно Единого Государства. Пара главных женских лиц (О и I-330) связана, как нередко у Достоевского, антитезой типа кроткого, смиренного, с одной стороны, и хищного, демонического — с другой. Выше указывалось на сходство публичных казней в Едином Государстве со средневековыми сожжениями еретиков. Но мысль о торжественно-праздничном оформлении их подсказана, по-видимому, Замятину «поэмой» о Великом Инквизиторе, где говорится о «великолепном аутодафе» «в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам» [10, с. 226]. Своего рода калькой, композиционной и содержательной, со свидания Великого Инквизитора и Христа выглядит в «Мы» встреча Благодетеля со строителем Интеграла (он же хроникер-повествователь, Д-503).

Все это еще тем не менее относительно частные и внешние результаты творческой учебы Замятина у Достоевского. Значительно более важным ее итогом стало отсутствие в позициях многих персонажей «Мы» монологизма, их известная амбивалентность. Кто такой, в самом деле, Д-503 — математик-теоретик, т. е. рационалист уже по обязанности, и в то же время «номер» не без неких естественно-человеческих «пережитков» (вспомним его нестерильные «волосатые» руки)? Увлеченный не идеей бунта-восстания, которую он всегда считал преступлением, но ее носителем — I-330, он затем добровольно показывает против своей возлюбленной, фактически предает ее и, наконец, спокойно наблюдает (что, правда, мотивировано удалением у него органа фантазии, но мотивировки этой в данном случае недостаточно) страшную процедуру ее казни.